

*Ты говоришь, что все в твоих руках? А теперь посмотри на них.
Не дрожат?*

Северцев открыл глаза, и все, что попало в поле зрения, понеслось в бешеной круговерти. Потолок, тощий силуэт капельницы, пустая койка с голым матрасом у противоположной стены – все поплыло в сторону. От такой центрифуги мужчину затошнило, и с его губ сорвался глухой протяжный стон. Он повернул голову и уткнулся носом в подушку. От нее пахло пылью и еще чем-то неприятным.

«Наверное, середина ночи или около того... – думал он, с трудом ворочая собственные мысли. – Надо бы встать, хоть до туалета дойти. До утра не дотерплю. Только дойти, это немного, всего пять или шесть шагов. Вот так...»

Диктуя себе эти действия и болезненно морщась от каждого шевеления, Северцев медленно сдвинул непослушное тело на холодный край койки.

Он сел и чрезмерным усилием воли подавил очередной рвотный позыв. В ушах гудело.

– Проклятие... – сжав зубы, процедил он и вцепился пальцами в металлический каркас своего ложа. Наконец, шумно выдохнув, Северцев поднялся на ноги, и палата с новой силой пошатнулась. Напряженные пальцы заходили по поверхности тумбочки, железным прутьям койки, стенам, ища себе какую-нибудь опору. Осторожно передвигая ноги, он двинулся вдоль стены к узкой двери туалета. Шаг за шагом, преодолевая жгучее головокружение, Северцев приближался к своей цели.

Вот осталось совсем немного, каких-то полтора шага. Вот дрожащая рука уже тянется к дверной ручке. Еще, еще немного... Он нажал на ручку, но та почему-то не поддалась. Тогда мужчина попробовал приложить больше сил, но от этого их будто разом убавилось во всем теле. Все вокруг поехало перед глазами, и ноги Северцева перестали ощущать под собою пол. С грохотом, разнесшимся по всей палате, он рухнул под дверь. В коридоре засуетились.

«Услышали... С поста что ли слышно? Да нет, здесь где-то, наверное, ходили – вот и услышали, – думал он. – Сейчас набегут, сволочи. Ну и наплевать. На все наплевать».

С этой мыслью Северцев хотел закрыть глаза, но, когда веки опустились, головокружение становилось совсем невыносимым. И он стал тупо смотреть в бледный, залитый синим светом ночи потолок. Этим же мягким светом была наполнена вся палата. Шум шагов в коридоре, прорываясь сквозь немислимый гул в ушах, доносился до слуха Северцева все отчетливей. Он закрыл глаза и беспомощно уткнулся лицом в пол.

Не прошло и минуты, как с приглушенной возней, стуком каблучков и сонными ругательствами в палату вторглись две медсестры.

– Опять этот придурок завалился! Если бегают по ночам, так пусть себе утку ставит. Достал! – заверещала молодая медсестра на высоких каблуках. Она была совсем еще девушкой.

– Рот закрой, Катька. Всю смену голова от тебя трещит. Ах ты, Господи... – вздохнула другая, пожилая женщина, наклонившись к Северцеву и лихорадочно щупая его руками. – Опять голова? Опять кружится? Горе ты мое, может оно и правда, утку бы себе ставил. Да ведь стоит же уже... Ах ты, Господи!

Она опустила на колени, закричала и попыталась поднять тело больного. Но тут же сама схватилась за поясницу и с упреком наброси-

лась на свою коллегу:

– Давай, помогай, Катька. Вишь, не могу! Стоит, смотрит!

– Ну да, чтоб пуп развязался! Ворочать каждую смену его тут.

– Ничего не каждую! Ну, зови Ваську тогда.

Недовольно хмыкнув, Катька скрылась за дверью.

– Ой, Сергей Батькович, горе ты луковое... – обратилась женщина уже к Северцеву.

– Не надо... Ничего не надо... – нервно пробормотал он и попробовал подняться на локтях. Но в глазах тут же потемнело, и Сергей снова упал на лопатки.

– Лежи уж. Вон и Василий Семеныч пришел, щас поможет.

В палату, кряхтя и невнятно ругаясь, вошел высокий и очень тучный санитар. Его выдернули со второго этажа и пригнали сюда, на третий, так что теперь он никак не мог отдышаться.

– Ущербного этого, что ли, поднять не можете? – пропыхтел он, едва появившись на пороге.

– Ну сам и тягай! – злобно завопила Катька.

– Дуры! – лаконично завершил он и грубо, одним мощным рывком хватаясь за клетчатую пижаму Северцева, встряхнул его над полом и потащил к койке. – Тяжелый, мать твою!

– Ну куда ты его? – завопила пожилая медсестра Серафима Павловна, как обычно вопят сварливые жены, когда видят, что какой-нибудь торшер или тумбочку ставят не в тот угол. – Он ж вон, в уборную шел!

Василий Семеныч глухо выругался и сплюнул.

– Может, мне его над толчком еще подержать?

– А чего держать-то... – развела руками женщина. – Ну и не мне ж, в конце концов! Надо будет – подержишь, не помрешь.

– Идите нахрен, – подытожил санитар. Он снова подтянул Северцева за подмышки и перекинул одну его руку через свое плечо, что было до крайности неудобно обоим из-за разницы в росте. Сергей был далеко не низким, но рядом с громадным Василием выглядел намного мельче.

– Не надо, пустите... – слабо и как-то смущенно возразил он. Но эти слова были проигнорированы.

Из-за захлопнувшейся двери туалета до слуха медсестер донеслась нервная возня. Подзатыльник. Маты.

Сконфуженного и неподвижного Сергея Северцева положили в постель. Он твердо смотрел в потолок, сцепив зубы и сжав кулаки настолько, насколько позволяли силы. Левая его щека дергалась в мелкой судороге. Васька и молодая медсестра вышли из палаты, но не уходили, а судя по голосам за дверью, дожидались Серафиму Павловну в коридоре.

Она отошла к подоконнику и копалась в железном лотке, который притащила с собой – Северцев заметил его только сейчас. Впрочем, ему было более чем наплевать на медсестру, на непонятные ампулы у нее в руках, на ее заговорческое нашептывание и вообще на все вокруг. Он часто и шумно задышал. Его дико раздражало то, что эта женщина в белом халате никак не хотела уходить. Но вот она развернулась и обрамленная голубым светом из окна направилась к койке. В ее белой и сухой руке блеснул шприц.

– Укольчик сделаю и уснешь. Крепко, хорошо уснешь. Давай-ка руку...

Увидев занесенный над собой как пику укол, Северцев неожиданно даже для самого себя вдруг заплакал. Заплакал тихо, порывисто. Нервы его в конец раздражились.

– Ничего не надо, – жалобно завыл он. – Оставьте меня в покое! Уйди, уйди, уйди!

– Т-ш-ш, – протянула женщина и, игнорируя дергания больного, уверенно закатала клетчатый рукав, ввела иглу. Ее сухая, теплая рука, совершившая свое действие, показалась теперь Северцеву настолько отвратительной, что он не нашел в себе сил смотреть в сторону медсестры и, закусив губу, отвернулся к стене. Головокружение снова дало о себе знать, но Сергей уже не обратил на это внимания.

– Что вы мне колите? – в невинном отчаянии прошептал он. Но ему не ответили.

– Ну вот и все. Теперь спи. Спи... – послышалось откуда-то с подоконника, потом от двери и, размазавшись по стенам, умерло в палатном воздухе. Скрип закрывшейся двери загородил собой медперсонал, а вскоре и память о них.

* * *

– Чего разнюнились? – придержав ноющую дверь, старшая медсестра шикнула на дожидавшихся ее коллег. – Вишь, человеку и так несладко, зачем еще лупишь? – обратилась она уже к Василию. В ответ он только протяжно вздохнул. Они втроем пошли по коридору. Но санитар значительно ускорил шаг, и его широкая фигура очень скоро растворилась где-то за поворотом.

– Другим не слаще, – как бы размышляя, уже без гонора, заметила Катька. – А тут неврастения, подумаешь... Да и с какой бы стати неврастения?

– Да ты ж не знаешь, о чем говоришь. Ты ж вообще ничего не знаешь.

– Да все я знаю, Серафима Паллна. Он, вроде, дочку похоронил. Ну, понятное, дело – горе, да только это ж больше года назад было. Теперь-то что страдать?

– Тьфу на тебя, Катька. Ерунду городишь, сердца у тебя нету. Не приведи Господь тебе такого! Вчера мать его приходила. Только он видеть ее не захотел, а она рыдала все... Ну, около часа мы во дворе с ней точно просидели. Северцев этот, в общем, с дочкой в аварию попал за городом где-то. Я ей в душу-то шибко лезть не стала, но она все «с управлением не справился», «с управлением не справился», как будто заключение какое-то... Ой, Катька, я ее слушать не могу, сама сижу там вся в слезах, горе такое. О-о-ой... – протянула она, поворачивая на лестничный пролет. – Девочке его четыре годика было. Надо ж так... Пожить маленькая толком не успела, Господь прибрал, – женщина наотмашь перекрестилась.

– Н-да... – протянула Катька, цокая каблуками по каменным ступенькам. В отличие от шарканья старшей коллеги, каждый ее шаг, отталкиваясь от стен звонким эхом, улетал вниз по лестнице. Вокруг было пусто. – Странно просто. Непонятно мне. Не помню, чтоб он у нас уже лежал. А сейчас для неврастения не поздно ли?

– Для неврастения никогда не поздно. Да и боль, видишь, у всех по-разному. Вообще, у всех все по-разному.

* * *

Медперсонал покинул палату, предусмотрительно не оставив ручки на внутренней стороне двери, как это делалось всегда. Северцев остался один. Он уже не слышал разговоров в коридоре. Да и вряд ли хотел бы слышать.

«Вот черт... Не смог до толчка дойти. Надо же так развалиться здесь, как последнее ничтожество, – думал он, все глубже и глубже утопая в своих мыслях. Это, впрочем, были не совсем мысли и совсем не его. Что-то внутри жестоко укоряло его и давило, давило, давило... И этим «чем-то» была даже не боль, а какое-то другое, огромное и беспощадное чувство, стоящее за ней. – Отвратительно. Как все это отвратительно. Не смог дойти до толчка. Какой же я червяк, если не могу толком даже пошевелиться! Этот амбал только что поднимал меня с пола, как инвалида, конченного овоща, и тащил в сортир! Не-ет, это уже слишком. Хах...» – Северцев рассмеялся глухим коротким смехом, больше похожим на кашель. Тут же этот смех перерос в какие-то судороги и всхлипы.

– Ничтожество, ничтожество, беспомощная дрянь... – шептал он уже вслух, пытаясь стиснуть в пальцах простыню, чтобы хоть как-то облегчить охватившее его неподъемное отчаяние, но тело не слушалось. –

Варенька, маленькая моя... Доченька. Прости меня, солнышко, прости. Видишь, что с папкой стало. Да какой из меня теперь папка... Стыдно-то как, доченька. Не смог, не смог папка твой тебя спасти, вырулить тогда не смог. Др-р-рянь... А теперь и с койки встать не могу. Прости меня, девочка моя, прости. До толчка дойти не могу... – тут Северцеву стало совсем невыносимо, и он механически дернулся в сторону с видимым намерением броситься на стенку. Но все, что он смог сделать, прорываясь сквозь пелену бессилия – это повернуть голову. Он почувствовал, как и без того тоненькая нить мысленных ошметков рвется и проваливается в глубокую черную дыру. Как весь он – его слух, зрение, осязание, – все проваливается в эту дыру и падает куда-то вниз, в темноту.

«Варенька...» – пронеслось в голове Северцева, но сил на шепот уже не нашлось. Поглотившая его бездна захлопнулась, как чья-то пасть, огромная и глубокая. Где-то высоко-высоко последним светлым пятном мелькнул потолок, и тонкий изгиб стойки капельницы попытался проникнуть в темную пасть вслед за мужчиной. Но пасть выплюнула капельницу. Выплюнула потолок. И неслышно сомкнулась, засасывая Северцева в себя и обрекая на мертвый сон. Сегодня доза снотворного была немного больше предыдущей.

* * *

До поста на первом этаже они дошли молча. Сели за обшарпанный деревянный стол, который и служил здесь дежурным постом. В коридоре, залитом холодным синим светом из окон, стояла абсолютная тишина. Только изредка сквозь деревянные рамы доносился суетливый гул дежурных машин.

Немного помолчав и как будто бы что-то соображая и обдумывая, молодая медсестра продолжила диалог:

– Это... А мать их где? Ну, Северцева жена, с ней что?

Коллега посмотрела на Катюку с каким-то наивным непониманием, точно не могла даже представить, чтобы у Северцева когда-то была жена. Но взгляд ее сухих прищуренных глаз быстро изменился и встретился со взглядом собеседницы.

– Да нету ж у них никакой матери. Я ж вчера дура душой, – на этом месте она обеими руками похлопала себя по голове, – то же самое вчера спросила. Там, конечно, в голову сразу и стрельнуло, что оно не надо бы, ну да уже ничего не поделаешь. Вообще-то я людям в душу лезть или вообще их зря баламутить – терпеть не могу и не хочу никогда... Но иной раз как ляпну, сама от себя не ожидавши. Хоть стой, хоть падай, – женщина горьким жестом, как бы отгоняя вышеназванные злодеяния, махнула

руками куда-то под столешницу.

– Да про себя-то ты мне что... Северцева-то мать что про нее говорит? Была ж у него жена, раз дочка есть... Ну, то есть... Была, – Катька несколько смутилась, но блеск пытливых глаз тут же перекрыл собой всякое смущение.

– Да была, была. Елена Аркадьевна – жена его. Ну, ты ее знаешь, – при этих словах она оглянулась и перешла совсем на шёпот, – бывшая жена, то есть. Ушла она от них. Как родила, так девочку на этого сбросила, – медсестра махнула головой куда-то вверх, неточно указывая на палату Северцева двумя этажами выше. – Сбросила и ушла. Больше ни слуху ни духу про неё у них не было. Да ей и было-то, получается... – медсестра задумалась, прикидывая что-то в уме, – девятнадцать лет, не больше. Саму мать-то, кстати, не очень мой вопрос задел. Это я больше испугалась. Нет, ну мало ли, тут такое, а я со всякой ерундой лезу – это во-первых... А, во-вторых, она, мать, похоже, ничего не знает. Ну я, конечно, для приличия извинилась...

– Да поняла я! И ты ей не сказала? Ну... про то?

– Нет, конечно. Я ж тебе говорю, я и так-то её задеть побоялась, а ты «про то», «про то». Да и что я ей скажу? Да и надо ли? Это уже их дело, семейное.

– Да в общем-то оно и правда, их дело. Мне только вот, что все ещё покоя не дает... Как бы это сказать... – Катька напряженно потерла переносицу тонкими пальцами. – Почему у него только сейчас, только через год вот так... стрельнуло?

– Катерина Дмитриевна! – низким протяжным эхом раздалось из коридора. За ним послышались торопливые шаги. Это подлетел к посту длинноногий санитар. – Там бабку какую-то привезли. В припадке, что ли... Из приемника сейчас припрут, успокоительное сразу готовь, наверно.

– В каком еще припадке? Ты че городишь? – ответила она, раздраженная тем, что разговор прервался.

– Да я-то откуда знаю! Готовь все давай, говорю.

* * *

Ночь прошла, и ленивый туманный рассвет розовой дымкой просочился в окна палат, коридоров, пустых кабинетов, столовой. Темнота неслышно осела на стенах и спряталась по углам, чтобы потом следующей ночью выползти снова и занять свое законное место. В больнице стало как-то по-особенному тихо. Это была не мертвая, нервная тишина, изредка рвущаяся криком какого-нибудь больного, сиреной скорой или

топотом срочно вызванного медперсонала на каком-то из этажей, нет. Утренняя тишина была больше усталостью. Всеобъемлющей мягкой усталостью, которая не могла не прийти в эти стены после ночи. Но ночь прошла. Прошла и темнота с судорожным мерцанием ламп в коридорах, со скрежетом чьих-то ног по кафелю, доносившимся непонятно откуда, с ожиданием на посту, что вот-вот понадобится куда-то бежать, что-то делать, зачем-то ругаться... С неравной борьбой против человеческого желания спать.

Прошла еще одна из миллиона, а может, миллиарда больничных ночей, которые уже прошли и еще должны были пройти. Но каждая такая ночь, ничтожно мелкая в толще остального времени, была особенной. Ведь в каждой из них были: и роковой вызов, и самая тяжелая смена, и последние часы перед долгожданной выпиской, и первая бессонница, и много еще того, о чем не узнает никто, кроме толстых облупившихся стен. Скрывать что бы там ни было от них бесполезно. Стены больницы видят лучше людей, слышат лучше них. Чувствуют и угадывают тоже лучше. И чем старше становятся, чем больше на них появляется трещин, чем толще становится слой бледной краски, чем больше в отчаянии о них разбивается кулаков и размазывается слез, чем больше молитв отталкивается от них неслышным эхом, тем еще острее, безошибочнее, тоньше они чувствуют.

Особенно чуткие стены приемного покоя. Когда еще только-только втаскивают кого-нибудь буйного, вносят обморочного, вводят беспмятного – стены уже знают и диагноз, и имя пациента. Что с ним будет потом, в какую палату определят, какое лечение назначат, как долго его продержат и ошибутся ли врачи – тоже знают.

Ночью стены добрее, чем днем. Ночью они, смягченные темнотой, непременно пожалеют какого-нибудь беднягу, поступившего только что или томящегося здесь уже не один месяц, но неизменно ропщущего на судьбу и уныло ковыряющего стену, просунув руку сквозь холодные прутья своей койки. Но днем о подобной снисходительности можно и не мечтать. Дневные стены обычно раздражительны и высокомерны. Их бесит однообразность, бесит тупое созерцание того, что не меняется десятилетиями. Но больше всего, конечно, их бесит понимание того, что так будет всегда, а им, стенам, придется смотреть и слушать все это до конца своих дней, не имея возможности что-нибудь изменить.

Но ночь прошла. На подоконники упали желтые блики – предвестники еще не взошедшего солнца. Тоненькая минутная стрелка на часах, превозмогая себя, поднялась вверх и показала ровно пять часов. На посту, прямо под этими часами, уронив голову на стол, дремала Екатерина

Дмитриевна. На ее неподвижной руке, облаченной в рукав белого халата, тикали в такт с настенными аккуратные наручные часики. Длинные темно-русые волосы, собранные в хвост на затылке, растрепались и беспорядочно лежали на хрупких плечах. Старшая ее коллега была занята примерно тем же, но двумя этажами выше. Там, где находилась палата Северцева.

Этой ночью стало ясно, что старушка, поступившая в «каком-то припадке», страдала тревожным расстройством, и с ней случился невроз. Скорую вызвала ее соседка по лестничной площадке, которая прибежала на крик за стенкой. Пострадавшая, конечно, уже знала о своем недуге, поэтому всегда оставляла этой самой соседке второй ключ от своей квартиры. Еще этой ночью Екатерина Дмитриевна узнала от второй медсестры (не мог же их разговор потом не продолжиться), что сразу после трагедии Северцев не убивался, не рвал на себе волосы и вообще не отличался в своем поведении чем-нибудь, свойственным людям, пережившим подобную потерю. На могилке он не был ни разу, не считая похорон. А через день или два после того, как девочку похоронили, Северцев вообще стал вести себя подозрительно обыкновенно. Никто (включая его мать, которая откровенничала обо всем этом с Серафимой Павловной в попытках отвести душу) не видел у него слез или какой-нибудь тяжелой грусти. Хотя одна, очевидная перемена в нем все-таки произошла. Северцев стал слишком как-то молчалив и замкнут. Нет, он, конечно, не превратился в угрюмое, безрадостное существо и на людях по-прежнему оставался тем, с кем было возможно самое теплое общение. Он не порвал связей с друзьями, не заперся у себя в четырех стенах. Мужчина по-прежнему интересовался делами знакомых, ходил на встречи, куда его с большой охотой приглашали, сам часто принимал у себя гостей, искренне поддерживал беседы, даже шутил. Замкнутость эта была в нем, скорее где-то внутри, совсем глубоко. Он, может быть, и сам не замечал ее за собой, потому что был слишком увлечен (хотя, слово «увлечен» тут не совсем уместно, лучше «затянут»), затянут другой, большой и тяжелой мыслью, которая, кажется, отпечаталась прямо у него на лице, иначе бы мать этого не заметила и впоследствии не рассказала. Еще, как мимоходом замечала мать Северцева, он стал очень рассеян, но это она списывала только на пережитый стресс. Слово «стресс» у нее, впрочем, выходило всегда нелепо и громоздко. Лучше бы, кажется, она заменяла его чем-нибудь другим.

Поначалу молчаливость и замкнутость сына очень беспокоили женщину. Так что она даже подозревала у него начало «чего-то ну навряд ли как депрессии» («депрессия» звучало из ее уст тоже очень ненатурально), но никак не решалась высказать Северцеву свои опасения. Боялась

навредить или обидеть. Или все сразу. Сам же он с ней о случившемся никогда не заговаривал, так что между ними установилась какая-то недосказанность, которая в первые несколько месяцев после происшествия не давала матери ни минуты покоя. Что-то бесформенное, неясное, недоговоренное, что-то такое, о чем материнское сердце могло только догадываться, чему могло только сочувствовать, повисло в воздухе и больше не развеялось. Так было и с переменой в сыне. Терзающейся женщине было не в чем его уличить, не на что опереться, чтобы она могла напрямую сказать хоть самой себе: «Да, он стал молчалив, и что-то с ним не так». Одна только бесконечная, ноющая тревога подавала ей невидимый сигнал. Но для слов этого было бы мало, и недосказанность оставалась на месте. Как таковых аргументов у матери не было тем более, что замкнутость сына была совершенно скрытой, внутренней. То есть те, кто не знал его совсем или знал недостаточно, ни за что бы не различили, что в потрясенной душе что-то не встало на свое место, что-то уже не заработало по-прежнему. А, как оказалось теперь, не знал и не понимал его почти никто.

С матерью после похорон Северцев стал видаться намного реже. Совсем перестал о чем-либо разговаривать (только так, по мелочи) и стал заезжать к ней всего один раз в неделю, и то не всегда. Чаще оставался дома. Сначала это, конечно, беспокоило ее, но потом женщина нашла себе скудное утешение в том, что сын «наверное, уже в себя пришел. А что серьезный такой стал – так оно же и лучше. Работать много стал, из бумаг совсем не вылезал – думала, это его отвлечет. К тому же после трагедии курить бросил, как отрезало». Так, вздыхая, говорила она медсестре, сидя под желтым апрельским солнцем во дворе больницы. Удивительно, как сердце матери, самое нежное, чуткое сердце из всех может иногда так жестоко и грубо ошибаться.

Также минувшей ночью одна из дежурных медсестер поведала (но лучше все-таки сказать «растрепала») другой о том, что случилось с Северцевым, и почему теперь он здесь. Это был один из немногих дней, когда мужчина навестил свою мать. Она просила его что-то посмотреть или починить у себя и это, конечно, был нелепый предлог. Когда Северцев подходил к дому, женщина сидела и ждала его на лавке у подъезда. Но, не дойдя до нее нескольких шагов, он выронил из рук портфель, с которым был. «Ну, уронил и замер. Стоит, смотрит на него, глаза по пять копеек. А там возле подъезда детишки какие-то носились. Вот из них кто-то подбежал, портфель ему подал. Ну с асфальта поднял и протягивает. Натё, говорит, дяденька, у вас упало. Он сперва на этого мальчишку (там, кажется, был мальчишка) посмотрел, а потом затрясся весь, закричал, так, что весь двор сбежался. А потом на асфальт бросился и головой биться

стал, пока сознание не потерял. Я так думаю, что вот этот-то ребеночек дочурку-то ему и напомнил. Из-за этого все и случилось. Ну, посмотрел на него и свою кровинушку вспомнил. Так ведь, наверное, это все происходит, да? Ой, несчастье...» – рассказывала мать Северцева медсестре Серафиме Павловне.

Это было холодное начало марта. Северцев поступил в городскую психоневрологическую больницу.